

БОРИС ШАПИРО СОПО НА ФЛЕЙТЕ

БОРИС
ШАПИРО

СОПО
НА
ФЛЕЙТЕ



СОЛО НА ФЛЕЙТЕ
Стихотворения

Борис Шапиро

С О Л О Н А Ф Л Е Й Т Е

Послесловие -
Вольфганг Казак

Художник
Ольга Шапиро

Verlag Otto Sagner
München
1984

'Solo na flejte' ist der erste in russischer Sprache verlegte Lyrikband von Boris Schapiro. Er enthält seine wichtigsten Gedichte von 1964-1984. Deutsche Nachdichtungen von Kay Borowsky und Hella Schapiro, sowie eigene deutsche Gedichte von Boris Schapiro enthält sein Buch "Metamorphosenkorn", Tübingen: Heliopolis Verlag 1981. Neue deutsche Gedichte sind in Schapiros Buch "Ein Tropfen Wort" zusammengefaßt.

CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek

Šapiro, Boris:

Solo na flejte : [stichotvorenija] / Boris Šapiro.
Poslesl. - Vol'fgang Kazak. — Chudoznik Ol'ga Šapiro.
— München : Sagner, 1984.

ISBN 3-87690-291-6

NE: Schapiro, Boris

Alle Rechte vorbehalten

© by Boris Schapiro 1984

Gesamtherstellung Walter Kleikamp, Köln

Printed in Germany 1984

ISBN 3-87690-291-6

Из сборника НАЧАЛО

1960 — 1964



Алеф веры моей в тебе,
День грядущий.
Осыпь лжи и насилий
Надежду не сможет убить.
Оглянись,
Эхо истины
Хлебом приходит насущным.
Оглянись же, Господь,
Дай и нам до свободы дожить.

Площадь Красная, площадь Красная,
лоб земли,
и покати́ста, и размаши́ста
исстари.

Как по капельке, по крупиночке
здесь цари
кровью красною, да булыжнички
за́сти́ли.

И мости́ли мосты ошейные,
горло-ста́ль.
Место лобное – рраз ошейником,
крик-хруста́ль.

Только ёлоч́ки посиневшие
у стены,
и стрельцы́ совсем заине́вшие
вдруг видны́.

По над площа́дью, по над красною
вре́мена
словно звон сто́ят, правда катится́,
вся красна́.

Вирус века. Сердце глуше
отзывается на песнь,
и высушивает души
недоверия болезнь.

Нам боязнь увидеть в друге
уши, чуждые душе,
ощутить чужие руки
микрофонного клише,

чтобы мы по одиночкам
разъедали ложью рот.
По каким расчётам точным
страха опухоль растёт?!

Вирус века. Сердце глуше.
Осторожно дышит тишь.
Ну, кому всё это нужно?

Тоже знаешь, а молчишь.

Непогодушка-потеха,
неразумное дитя,
сыплет снегом, словно смехом,
а следы как от дождя.

Лаской власти ловит пленных,
их улыбки и мольбы.
Все скамейки на коленях,
на коленях все столбы.

Стой! Крути назад веселье,
дальше нету верстовых.
Заблудился дождь осенний
на бумаге мостовых.

На булыжной лёг постели,
притаился и затих.
И на окнах зачернели
тени часовых.

Густо-синий восток
закатное солнце переупрямил,

в перистые облачка
переплавил липнувший энной.

Воздух, втекающий в ноздри,
гноит пропотевшее сердце,

и обленившийся ветер
тени надежде дарит.

ЛЮДОЕДЫ

Тяп-ляп,
во рту кляп.

Размахнулся — раз,
не в бровь, а в глаз.

Мы люди простые,
водкой налитые.

Лаптем щи хлебаем
да байки баем.

Едим с потрохами,
говорим стихами.

Когда Калигула назвался божеством,
с латинским не считаясь естеством,
чтоб кончить с неугодным трону злом,
крестом орудуя и висельным узлом,

Рим был доволен новым торжеством.

Когда б не слова верная эмея
звучала так, как дантовы терцины
в груди заветной, и не вынес я,
и выпустил бы сердце из теснины,

твоим словам приветствие творя,
как слову матери в душе внимают сѣны,
любимая сестра, кормилица моя, —
иной тому не ведаю причины —

звучанием не стал бы этот стих.
А если же из будничной кручины
он сам собой в сознании возник

и вторгся в жизнь до самой сердцевины,
то лишь затем, чтоб твой напомнить лик.
Тебя услышать — вот желанный миг.

Разлука — смерть, а жизни круг
в одном твоём прикосновеньи.
Руки прощальной мановенье
на миг перехватило дух.

На миг, а выпустит не вдруг,
и столько тянется мгновенье,
пока надеждой на спасенье
обратно не вернётся звук.

Я знаю древней старины
одно волшебное творенье:
любовью мы одарены.

И как бы ни были длинны
разлуки дни, ты слышишь пенье
соединившей нас струны.

П.К.

Тупик. Лобастое окно.
Причудный механизм кровати —
две рукояти подо дном
торчат, и кислород в палате.

Зудит мыслишка о расплате
за что-то, что забыл давно.
День, как в замедленном кино,
до ужаса невероятен.

Но внятен голос докторов
о том, что я в конце концов
к здоровой отношусь породе,

поскольку из глубинных снов
друг откликается на зов,
и боль сама собой проходит.

Две недели над Москвою
мелкий дождик моросит.
С непокрытой головою,
голубою головою,
под фонарною луною
босиком, под красным пледом
юный Мориц две недели
в кресле с книжкою лежит.
А по лужам расходятся волны.

Мелкий дождик две недели
в кресле с книжкою лежит.
На его дождином теле
голубые канители.
В это время в самом деле
пледом облачным укрытый,
две недели юный Мориц
над Москвою моросит.
По страничкам расходятся волны.

Нелкий мождик добросит
по ведели, по москвою,
с крыпонётой вологдю
флѧ ирѧза булагдю,
блѧва йрисогалою.
Сквѧрец згѧр, уѧла срѧбро
и аккѧдро ввѧдил цпрѧрет...
Разорвав оковы жанра,
дождик стал огромным ливнем.

Красная осень.

Мокрая осень.

Мёрзлая осень.

Мёртвая осень.

СОЛО НА ФЛЕЙТЕ

1964 — 1974



ПРОЛОГ

Лето, зеленью одетое,
в колокольчики звеня,
не заметило, что где-то
под колодою нагретой
просыпается змея.

Змея с персиковой кожей
и прекрасная лицом
так изящно тело может
изгибать, на травке лёжа,
и сворачивать кольцом.

А вокруг лихой мерзавки
поперёк земли и вдоль
расположены на травке
бездыханные козявки,
золотые трупы пчёл.

Да, её удар — не промах,
прочерк глаза — ложный знак.
Но не этих насекомых,
в том числе моих знакомых
наблюдает дошлый зрак.

Ну, конечно, этих тоже
одурманивает взор.
Все в одном узле, и всё же
высший смысл ей сердце гложет,
или просто так узор?

Кто она, живая флейта,
простодушная змея?
Лента скорби, фея лета,
гробовой любви примета,
иероглиф бытия?

Символ мудрости и тайны,
символ смерти и судьбы,
красоты первоначальной,
символ музыки печальной,
колдовства и ворожбы?

Вот она уже проснулась,
от колоды отползла,
потянулась, ухмыльнулась,
симтарин-травы коснулась,
и хрустальная слеза

окропила венчик синий
медоносного цветка
в краснолистом симтарине.
Точно в самой середине
тирличового листка

дырку зубом проколола,
трижды плюнула в просвет

и сплела такое слово:
"Ты лети-лети, полова,
на перунов огнецвет,

ты, слеза, сгори в горниле
симтаринной синевы,
ты, зерно, заройся в иле,
сгни у мигуна в могиле
в корне одолень-травы!"

Так промолвила змеюга,
хвост зажала вещим ртом,
избоченилась упруго
и, проделав круг над лугом,
уплыла за окоём.

Та музыка из прихоти созвучий
осенней песней обласкает лист,
обрадует, и легковесный случай
кружится до земли...

А охры голод
в лесную проникает глубину,
и постепенно зимний
упадает холод,
и лёгкая лыжня виётся по нему.

Вдру́г приде́т, нежданно и негаданно,
вдру́г ударит просе́дь в виски
запах снежный и немного ладанный —
хлопья нараста́вшей тоски.

В музыке её мелодия простая:
инквизиторски, без отдыха и сна,
как сорняк в сознание вращая,
крутит кружево свербящая блесна.

И звучит, не тронув волосинки
и лицо морщиной не изрыв,
весь внутри, зажатый под сурдинку,
днём и ночью тянущийся взрыв...

Там, где медовым цветеньем облиты
пылают над домом сплетенные липы,
и в круге ладоней, как город знакомый,
колодец у старенькой школы,
в памяти серым тяжёлым кубом
кирпичная гранула нежности.

Статуэтка и майор.
Смех, гусарский разговор,
что он хочет, что он может.
Любоваться? Та ли рожа,
а разбить, так совесть сгложет.
От его усов узор
не останется на коже.
Мрамор, на любовь похожий,
та — искусство, он — прохожий
смотрит, словно вор в прихожей,
а у вора нету денег. .
Статуэтка стала строже
и твердит одно и то же:
Кто посмотрит, кто оценит,
кто, достаточно пригожий,
выберет денёк хороший,
кто заманит, кто разденет,
чей напор и смел, и скор?

Проститутка и священник —
статуэтка и майор.

Я ухожу.

Вот кончился паркет,
вот лестницы последняя ступенька,
край тротуара, улицы, земли...

И у тебя нет края.

Ты на санках
летишь всё время на краю земли,
и я за санками бегу — безногий мальчик —
от времени куда-нибудь подальше.

Я ухожу.

Ещё у города отрада
при непогоде — гулкий град.
Ударами косого града
он точит острия оград,

он разбивает в перестрелке
узоры клёнов золотых
на иллюзорные оттенки
мощёных градом мостовых,

он отрывает и уносит
сухой октябрьский наряд,
насильно одевая осень
в артиллерийский свой парад,

и гонит нас с тобою вместе
за переулка поворот.
В одном он держит перекрестьи
и твой приют, и мой приход.

На круглой скатерти
как в жёлтом колесе
в разлад круг`верти
разлиты дни на спицы.
Протёртый локтем
солнечный лоскут
когда-то был лимоном.
В середине,
что к западу от места для солонки,
парадный вход в забытую гробницу,
вернее просто маленькая дырка.
Там не живёт никто.

Меня на Болоте заждался
краснорубашечный доктор,
его интерес безответен,
характер — цветен и крут.

Не так я высоко забрался:
помост отражается в окнах,
и по ветру слышно, как дети
весёлую песню поют.

ТЕМА ДЛЯ МЕДИТАЦИИ ИЗ КЭНКО ХОСИ

Бодливому быку
спилили оба рога,
потом другому...
Прошло тысячелетье.
Понемногу
привыкли здесь и там:
бодливым лучше без рогов
быкам.

А что кусачим лошадям?..
Им отрезают уши.

Ход времён
ускорился,
и можно догадаться,
что будут отсекасть
болтливым дуракам.

Ха-ха. Нам нечего бояться:
у нас на темени
торчащих штучек нет
на радость мамам
и на страх врагам.

..И веймарский скрипач
приструнивал смычок,
чтоб не игрался плач,
а чтобы пел сверчок.

И вправду со стола
слетал крылатый кто-то,
и музыка была
простая, как работа.

И веймарский скрипач
приструнивал смычок,
чтоб не игрался плач,
а чтобы пел сверчок...

Я слушал музыку
и был обвит
весь, с ног до головы,
прозрачайшими линиями звуков
различной толщины и гибкости различной.

Как нежные задумчивые пальцы,
увенчанные ласковой ладонью,
тянулись эти линии ко мне,
узорами в моё вплетаясь тело.
И та, которая четвёртою у губ
была, та пела первой в ухо,
и вместе все они до сердца доходили,
и опускались к пальцам, шевеля их
прозрачайшими линиями звуков.

Как нежные задумчивые пальцы,
увенчанные ласковой ладонью,
с лучами ломкими голубеньких прожилок,
протянутые плачущим ребёнком
к улыбке матери, несут ему улыбку,
дарили лучшие свои одежды
друг другу линии, друг друга украшая,
и тонкой вязью проникали в кожу,
узорами в моё вплетаясь тело.
И вместе все они до сердца доходили,
отыскивая в нём божественное что-то,
похожее на первую любовь,
и даже не на первую — земную
живую бесконечную любовь.

Я слушал музыку
и был обвит
прозрачайшими линиями звуков.

Упала Луна на деревья
и землю осыпала снегом,
оставив на небе лазурном
белёсый осколок опала.

Серебряное одеяло —
подстилка под синие тени
деревьев, а бледное гало
свеченьем седым оживляло
волшебное света кочевье,

качанье лазурного неба
на хрупком осколке Луны,
игольчатое тишины
в морозный кристалл прорастанье.

Свиданье,
сплетание утра и ночи.
На снежной постели
пастельный клубочек.
Сквозь лунный отонок
вылез у ночи
хмельной язычок из пелёнок —

солнце.

Завеса — зависть,
сам — совесть,
пояс,
то есть память.

Таять
тянет нить ночи
ладонь —
восковую наледь.

Во рту огромной головы
всё было тускло и уныло,
в гортани музыка свербила,
амфитеатр зубов желтел,
язык партера спать хотел,
юпитер брызгал света сок
на небо, в грязный потолок
и в потный шиворот толпы
во рту огромной головы.

Я был в концерте без тебя —
в истерику кидались скрипки,
тромбоны корчили улыбки
на вздохи тубы, стон валторн
и арфы глупый перезвон.
И флейты плач, и бубна пляс
глушил пудовый контрабас.
Немой ударник-истукан
раз в час бил в ватный барабан
и хмыкал, ноты беребя:
я был в концерте без тебя.

Отрады горькая оправа —
любви забытые права.
И безразличия отравы,
и ненависти острова
прозрачнеют до акварели,
а с акварельной высоты
недогоревшие апрели,
недосожжённые мосты...

Тускнеет мой приют.
Любимая уходит.
Единственный этюд
живу на полуноте.

Живу на полуноте,
и падает из рук
вещественен и плотен
ещё не бывший звук.

Литании напевной серебро –
Юродствующий танец.
Бесхитростно бело
Лукавое летанье,
Югорского шамана болеро.

Всё недавно. Всё давно.
Ты при мне ещё не пела.
То ли просто не успела,
то ли пеня не дано.

Наших дней веретено
размоталось до предела.
Но тебе-то что за дело,
чем оно оплетено?

Или отъединено
от души земное тело
и летать не захотело?

Видно душу не задело
из бутылки запотелой
певное вино.

ЙОЗЕФ КНЕХТ

Я слеп, и музыка проста,
и пение немного странно.
Легка пушинка одувана —
твердь снова чистого листа,
и призрачная высота
обнажена и постоянна.

Обратно в логово обмана
полураскрытые уста
поверх изменчивого слова
как небо над любовью голой
вбирают слепоту и страх
звучаньем древнего глагола.

Но деревянной флейты соло
бескрыло гаснет на губах.

Как слышу, так и напишу
из слов, танцующих в балете
при солнечном и лунном свете,
доступное карандашу,

и вечностью не дорожу,
пока любовь не тонет в Лете.
В бокалы музыку налейте —
я к флейте губы подношу

и, просветляя дух, как встарь,
веселья песенной беспечностью,
я строю крылья, как кустарь.

Ещё пронизан человечностью
измен возможных календарь
там, где любовь граничит с вечностью.

Сна нет.

И снов не будет впредь.

Не жди, что кто-нибудь приснится.

Ни умереть, ни улететь,

ни заново родиться.

Всё наяву, и жизнь и смерть,

и исчезают лица,

и сутки прекращают длиться,

когда внимательно смотреть

умеешь.

Больше нет богов.

А идолам молиться

легко.

Ты умрёшь .

Гипнотически лёгким
спокойным породистым счастьем
ленивая сытость
медленно сдавит под дых .

Сердцу не выжить —
в глазах чужого несчастья
души скульптурная сытость
не видит несчастий своих .

Который век? Вот Агасфер
ещё гуляет. Старый сквер
оставлен справа, и к воде
он незаметно в суете
пришёл усталый, но пока
Москва ему не велика,
а всякий город интересен...

От набережных кислой Темзы
в прозрачный плёс Москвы-реки
удушья глиняные пенсы
каким-то чудом натекли,
и отражений влажный плис
у призрачных мостов и арок
перемежает верх и низ.

И это тоже как подарок:
немного, может быть, наивный,
но, наконец, пришедший сон,
где пальцы маминой руки
как музыка слышны спросонок,
как будто я приговорён
или совсем ещё ребёнок.

Вот приглушённые шаги.
Идут, подняв воротники
и второпях не замечая,
как, ненавязчиво легки,
снежинки тают у щеки,
не москвичи, а англичане,
случайны, вежливы, глухи.

Их равнодушия кольцо
таит такую злую силу...
Немой усмешкой исказилось
Москвы скуластое лицо.
Одно лишь время неизбежно.
Всё связано и всё разрывно,
и всё пройдёт в конце концов.
Но агасферы расплодились

и здесь.

ИЮНЬ

В нас кукольное естество
возникло в ночь под Рождество.

С тех пор вселенской этой мерой
отмечено течение эры.

Мой Винни-Пух, мой разум пылкий,
в груди стучат твои опилки,

и мы играем
на подмостках лета
ты — Гамлета, а я — Лаэрта.

ДВЕ ВАРИАЦИИ

*

Осень. Ржавых листьев осыпь,
и деревья босы в предрассветной мгле.
Голубая проседь пролегла вдоль просек.
Рог остался лосий на кривом стволе.

Безголосой осью горизонта ответ
раскололся о землю в золотой золе.
И в раскрытой горсти скоро будут гости —
медленные осы на земле.

**

Осень. Сень разбилась о землю.
От лесных укусин отступила темь.
В золотистый ответ — ржавых листьев осыпь —,
как кинжал за пояс, опустился день.

Как кинжал за пояс, как зима на полюс,
побелевший волос — иней на траве.
Неба синий образ — твой прозрачный голос,
и сполох далёкий — взлёт твоих бровей.

Всё нынче кувырком.
Торжественная свита...
И лысина сокрыта
под острым колпаком.

Темно, прохладой ночь залита,
невеста плачет под платком,
друг побежал за огоньком,
толпа колышется сердито.

Что тянут? Что ещё забыто?
Привстал аббат с лицом бандита,
кивнул. Монахи деловиты.

И пробирает ветерком
малиновое санбенито.
Легко быть дураком.

Вымирает постепенно
тот, кто знал, что было раньше.
На его приходит место
тот, кто прошлого не знает.

Это встречное движение
называется "прогресс",
а в движении неизменны
только вечные миражи.

Мне доподлинно известно:
в нашем мире выживает
только вечного сомненья
любопытствующий бес.

Ктырь ужалил мизгиря.
Мизгириха овдовела.
А она сама хотела
мужа съесть, а вышло — зря.
Мизгиря недвижно тело.
Злобой праведной горя,
с возмущением глядела
мизгириха на ктыря.

Ктырь же, лапку отгрызая
от убитого супруга,
говорил: "Мизгирька злая,
мы должны понять друг друга.
Мы заранее не знаем,
на краю какого круга
жизнь случится оборвать.
Если хочешь скушать друга,
с этим надо поспешать."

Вяхирь, лесный глуботарь,
прокуравый лесозим
волчно гулькает из трав
мошнику на задир:

— Гули мошник рдянобров?
Гули мошник лубопёр?
По ягоду, по ягоду зло болтлив,
вихорево гнездо утопил дождём,
оборотень-великрыл.

А мошнику хула за обычай.

Душа медведя тоньше дыма,
она так нежно хороша,
так упоительно ранима,
медведя тонкая душа,

что случай головни прогорклой
в неё не может не воткнуть
и препараторской иглой
не дёрнуть в ней чего-нибудь,

послушать: глухо или звонко,
под сердцем или в голове
медвежья рвётся перепонка,
а если повезёт, то две.

Мне брат медведь, и мне понятно,
как гулко падает в закат
малиновое сердце брата,
и кровью облака горят.

ТАНЯ

Земля, беременная светом,
шутя, ведёт на купола
из обнажённых до бела
созвездий плед перед рассветом,

и свет как чудо по ковру,
как неба колокольный слепок
из птичьих горл по струнам веток,
звения, спускается в траву.

И прямо из земли на волю,
из полудетства-полусна
летит из травяных ладоней
новорождённая звезда.

А ночью над её могилой
берёза косу расплела
и низко волосы склонила,
и так стояла до света.

Пишу тебе на бересте.
Здесь осень. Воздух лёгкий, сдобный.
Леса светлее и бездомней.
И в деревянной простоте
слова живее и огромней.

Здесь соразмерно и легко
кончается спектакль летний.
День стал короче и заметней.
Весна ещё так далеко,
как будто этот день — последний.

И на обломках суеты,
на жухлых листьях увяданья
жжёт нелогичностью и тайной
софизм: осенние цветы.

Ель, неукрытая инеем,
дымкой наполнены просеки.
Светловолосые линии
зиме опутали осенью.

Был мне сон,
высок и светел.
В нём из розовых долин
тихо Белую токкату
пел невидимый орган,
Белой музыкой туман
поднимался на рассвете.
Слабый ветер дул с вершин.
На восходе апельсин
разгорался,
трубным звуком опалая на закате
горы, выгнутые луком.
Потянулся караван
журавлей над виадуком.
Белый город спал вдали.
Озерцо зеркальным кругом отраженья,
как в кувшин,
собирало друг за другом
журавлиный караван,
Белый город, горный ветер,
виноградников шпалеры...
Шло двадцатое столетье
нашей эры...
Апельсин
разгорался.

Вызрело зарево в озере.
Рыбы не ромбами — розами.

Облако в воздухе розовом
в образе зверя над озером.

Замерло зарево росстани
в небе и в озере — порознь.

И светоградными лозами
в озеро свесилось гроздьями
зарево —

ваза слёз.

Ну вот, теперь пишу тебе
по эту сторону свиданья.
Заметно ли на расстояньи,
что сдвинулось в моей судьбе?

И где мой Гефсиманский сад?
И путь далёк ли до Голгофы?
Не эти ли писались строфы
тысячелетия назад?

Я думать не хочу о том,
что суждено в конце разлуки
раскинуть надо мною руки
и никнуть на кресте челом

тебе..? Ты только лишь дитя,
и над тобой звезды сиянье.
И пусть хранит тебя признание,
что я люблю, люблю тебя.

Лицо наплывом.
В кадре дача, вернее
дачный столик и скамейка,
углом набросанная скатерть,
и солнечный лимон,
на дереве стола лежащий,
освещает скатерть.
А правее
в надорванном конверте письмо
и ветка ивы.
Нет ни дуновенья,
хотя свежо.
Поверх всего лицо.
От запаха шалфея или мяты
вкус благопожеланья.
Это утро
неслышно отлетает от стола.
Такой сегодня день,
что скатерть не измята,
лимон — древесное яйцо,
и не нужны слова.

У Эос эльфы украли из сердца
солнечный эль,
Эхо споили и сами надрались.
А бессердечная Эос в рубашке
по небу плывёт на плоту.

Если прямо скажешь прямо,
это будет очень грубо.

Если поздно скажешь прямо,
то получится издёвка.

Если рано скажешь прямо,
не поверят всё равно.

МАРФА умерла, а потом пришла к нам
и сказала Ёсе:

В белом саване не дышу.
В полотнище дыру прогрызая,
я как в тёмную воду вхожу
по зеркальной дороге босая.
Зеркалами облита вода.
В ней, судьба моя, пустота.
Я зеркальную пустоту
поднесу к говорящему рту
и покрою заветным листком,
и в пахучую мякоть сотру.
По колючей росе на ветру
я приду по утрам босиком,
по гусиной тропе, по мосту,
по траве сквозь густую листву,
пустоту превращу в густоту.
Я приду к тебе в каменный дом
по колючей росе босиком.
Будет терпкая мякоть листа
хоть густа, да зато непроста.
Будет жизнь твоя нелегка
и судьба твоя как река,
как пахучая мякоть густа
мать-и-мачехинога листа.
Будешь жить озареньем холста.
Будет горек твой хлеб непроста,
и густая вода солона.

Но любовь твоя будет чиста.
Ты судьбу свою выпьешь до дна
из зеркальной реки, до пьяна,
до последнего дня, до темна,
до скупящего горло глотка.

ВОЗВРАЩЕНИЕ МАРИНЫ

Расступается
звон молчанья,
раскрывается
веер света,
и, сверкая
под жарким небом
в зачернённой
оправе ада,

тоскуют костяные кастаньеты



Гору иду к тебе

— город.

Волю велю тебе

— голод.

Горб влеку тебе

— торба.

Ликом льну к тебе

— морок.

В тумане музыки изустной
над вязью парков и домов
деревьев волосы послушно
змеили листья слов
на заросли омелы,
и тминный дух на южной
стороне холмов
к реке спускался вниз.
Вода уже темнела
и уходила ввысь.

Медузы-Праги жизнь
над зеркалом воды окаменела.

Иждивенка — у чешской любви
на поруках безруких замёрзла.

Индевея, я стала совсем бестелесной,
совсем безволосой, я пела.

За недель неделя моя
проходила бессветной, бесслёзной,

я немела, я выла
над дочерью скарлатинозной.

Я грызла граниты
во сне набегающей Влтавы.

Я — тело, я — жизнь, я — любовь
от сердца текущей отравы

.....

Доживаю: угроза отъезда,
уезжаю — приезда гроза:
соберутся ли в розу соседства
лепестками твои голоса?

Этот голод ещё не бесцветен,
цвету будет куда отступить:
можно только живому на свете
одиначества камни глотать.

ДОРОГА

Возвращенье — из каторги к плену,
от цепей — но к цепному труду.
Предпоследнюю цвета измену
я верёвкой потом оберну.

Пополам? — по рукам. Ту ли цену
я живая плачу за беду?
Я из сердца, как греки Елену,
уезжая, надежду краду.

Над лохмотьями выжженной плоти,
над полями пылает нарыв —
гной и боль обесчещенных родин.

Им спокойный и сумрачный `Один
накануне войны шлёт дары.
Кто солжёт, что сегодня — свободен?

СОН К АННЕ ТЕСКОВОЙ

Уже тоска по воле здешней —
призрак плыл по чужине.
В городишке том крошечном
в сердце выстрелили мне.

Из-под шапки-невидимки
выпадаю из-под сна:
городишко на картинке,
тело — тоже чужина.

На картинке городишко.
Пристань. Лодки на песке.
Рыжий с удочкой мальчишка,
зыбь — пульсирует в виске.

Всё ещё возможно чудо.
Боже, не дай слепоты.
Я увижу и оттуда
Ваши пражские мосты.

Сохранит меня Ваш Рыцарь,
я его уберегу.
Здесь мгновение — убийца.
Пред Россией — я в долгу.

Начало — ворожба и тайна,
добра наследственный залог,
враждебный тяжести сознания.
Но предок — Молох, лишь потомок — Бог,

уже ступивший за порог
в кривое зеркало преданья.
И правда будущего знания —
любовью освящённый долг.

Листаем наших дней четьи-минеи:
там, где была избушка ворожей,
на пепелище выбился вьюнок,

витая нить надежды возле шеи —
зелёный лист прощенья, перешеек
и красный возвращения цветок.

ПРОВОДЫ ОТЦА

1976



Архитектура города легка,
но не взлетают вверх, хотя стремятся,
в бездомные борзые облака
дома, каналы, улицы, палаццо.

Бездумный арлекин свой танец вертикальный
вознёс над топью на семи холмах.
И в сумерки виднее куполов сусальных
над паутиной улиц судорожный взмах.

Мы шли вдвоём, и папа вдруг сказал:
"Не улететь тому, кто вековые корни
поит водой из лужи подзаборной.
Непредсказуемое — корень всех начал.

Пророчество ж всегда в каком-то смысле рана,
а город держат зову вопреки
задворки, закоулки, тупики
свинцовой влагой пьяного тумана."

Ещё сказал он: "Память — это хлеб,
и вообще нелепы расстоянья.
Мы не прервём последнее свиданье,
хоть ты и улетишь на много лет.

Всё возвращается опять на круги вальса.
Конверт пространства в сущности зависим
хоть бы от ножа для разрезанья писем..."
Я уходил, а папа оставался.

Сквозь спящий город медленным круженьем
самозабвенный зодчий-арлекин
вёл нас двойным друг друга отраженьем
в провалах окон и слепых витрин.

Неделей позже, в день перед отъездом
с утра лило, а я шагал домой
вдоль Яузы,
потом свернул к Солянке
и побежал по мостовой,
приподнятой над окнами окрестных
домишек, догонять троллейбус.
Здесь когда-то с нянькой
мы в очереди мёрзли за мукой.

И вдруг увидел:
ниже в переулке
два озверелых мужика на пару
кого-то избивали. Смертно, гулко.
И этот кто-то — чем он их обидел? —
молчал, но злобы мерные удары
вздохом наковальни отдавались,
лились, как кровь, тяжёлым пряным звуком,
и воздух наполнялся перегаром.

Я бросился к ним и вцепился
одному из них в горло,
и тут же,
как открытие крышки — в затылок...
Во рту стало кисло, тошнотно...

Две души поднимались над плотной
тканью города в неба обмылок,
и слились в световое пятно
я бесплотный и папа бесплотный.
Крика матери полотно
белым куревом плыло над лужами.
Дождик кончился, наконец.
И я понял: я и отец —
это было одно.

Лечение кончилось.
Теперь мой лекарь лес.
И я ему внимаю понемногу,
прослеживаю каждую дорогу
и к Богу тропочку
ищу между берёз.
И осень
смотрит на меня с укором
и лечит золотистым разговором
опавших листьев.
Расставанье скоро.
И в горле ком
её смолистых слёз.

Октябрь в полусне
танцует, будто спятил.
Ритм выбивает дятел
в экстазе на сосне.

Октябрь в полусне,
но танец беспощаден.
Вода ушла из впадин,
дав место седине.

Октябрь в полусне
нападается за день.
Остроконечных пятен
редеем полусвет.

Октябрь в полусне
перебирает пряди,
и падает на платье
неотвратимый снег.

Лёг снег, но он к вечеру стает,
как будто невидимым станет,
как будто бы белая стая
продолжила свой перелёт.

Пока же клубящимся роем
он кроет всё горько-земное
и между тобою и мною
он белую скатерть кладёт.

Он делает блёклыми краски
ещё не рассказанной сказки,
ещё не испытанной ласки
полёта последних минут.

От этого снега отрепий
становится злей и нелепей
вселенское великолепье
пространства и времени тут.

Труп сегодняшний день, или трут?
Гурт бессмысленный, или же друг,
что один только медленный труд
раскрывает пространство вокруг?

Из каких неизведанных руд
круг цветка и волан этих рук
выплавляет болван-демиург
и вливает в гранёный сосуд?

А напиток пьянит, как обман,
когда вдруг закипает обвал
под ступившими в пропасть ногами.

Бесконечными длится ночами
тех последних секунд караван.
Но в конце или только в начале?

Над нами вознёсся отрогом
кубик прозрачного храма.
Семо скользила дорога,
и церковь светлела овамо.

Сквозь шубу пушистых чешуек
от тесного близкого неба
одесную и ошуюю
легло понимание хлеба.

Легло понимание речи.
Не будет светлее, ни легче.
И не прерываются встречи,
но глетчер сползает на плечи.

СКВОЗЬ КОЛЬЦО ГОРИЗОНТА

1975 — 1984



ПРОГУЛКА С ПУШКИНЫМ

И вот уже трещат морозы
И серебрятся средь полей...
(Читатель ждёт уж рифмы розы;
На, вот возьми её скорей!)

4-я глава, XLII-я строфа,
"Евгений Онегин".

Кто вы, читатели, стрекозы?
Вы — летней прозы колорит.
А мы? Когда трещат морозы,
"Мы — розы" — Пушкин говорит.

И как вам в музыке соцветья
ребристый смысл строки узреть,
покуда надобны столетья
простую рифму разглядеть?

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Геле

Что там перепел встревожен
над гнездом во ржи,
и луна прозрачной кожей
над жнивьем дрожит?

Всё спокойно. Конь стреножен.
Вложен меч в ножны.
И ладони осторожны,
и глаза нежны.

Но за далью луговой
где-то стонет выпь?
Там, где любят, нет покоя
и не может быть.

Спи, любимая. С тобой
нашу жизнь прожить —
это слышать голубую
музыку в тиши

и, как перепел, душою
ночью над жнивьем
нам одной гореть звездой,
нам с тобой вдвоём.

Октябрь всегда благосклонен ко мне.
Осеннего неба голубизне
и слов, обращённых к тебе, прямизне
обязан я тем, что свободен.

Я каждую осень летаю во сне.
Свобода внутри, в глубине, а извне
жгут руки колючим морозом вдвойне
холодные поручни сходят.

НА СМЕРТЬ ГАЛИЧА

*

Александр Аркадьевич,
Струн Гитарович, Сокол Правдевич!
Не Боян был, не соловей,
только совесть земли моей,
только голос моей земли —
жить не смог от неё вдали.

**

Вроде мелочь — зрачок из щёлочки,
полувзгляды сощуренной щёлочи,
мол, не все ещё сдохли, сволочи,
ещё будут вам калачи...

А земля у подножия полночи
новым снегом одета с иголки,
и луна над заснувшей ёлочкой
бессловесную песню лучит.

Труп сегодняшний день, или труп?
И в конце или только в начале
на убийственно зыбком причале
нас холодные поручни жгут?

То ли ноги устали от пут,
то ли ночь коротка для венчанья,
но виски как тиски от отчаянья
руки только любимых сожмут.

Кто-то машет нагим палашом.
Есть кому ещё стать палачом,
и вздыхает судьба за плечами.

Затихает причала качанье,
и тихонько звенит ни о чём
серебристая нитка печали.

Зарница на краю земли
сполохнула и задохнулась,
и Мира робкая округлость
блеснула на конце иглы.

Но сумрачно закрылся горизонт
за многотонной тучей,
и разорван воздух
изломанно мигающей грозой.

Так осень бьётся и кричит в падучей.

Тщу гаркнуть так, чтоб донеслось,
так гикнуть, распрямивши плечи,
чтобы светило сорвалось
в клоповник человечесий,
в тот смех, тот лемех, лепет, рок,
где горя крот и крови грог
вскрывают горизонта кров,
и горлом рвутся из оков
гормоны звуков, громы снов,
где след от лезвия стихов
анатомически таков:
вот сердца вечный глечик,
сосуд, в нём булькает любовь,
а в печени — стихоголов
загнеток речи Герцик.

Весть, что по степям
дорожной пыли дня взвесь
клубится для
того, чтобы осесть
пуховым серым платком,
будто и не ехал никто,
взглядом впиваясь в прядь
колен, убегающей вспять
от колен. Расстояние, пядь,
меньше толщины стен
с пограничным столбом.
Передвижение — взлом,
если едешь спиной вперёд.
Душа — воробей, стреляный влёт —
прячется в газетный кулёк привычек,
пёрышками шурша
о помятое "Здравствуй, дом!".
Расторопная память с дырявым дном
сохранила мелочи быта и лица.
Словно лисица рыжим взметнула хвостом,
снится минувшее, снится, и вдруг затаится,—
в дыры памяти полдень
солнечным тычет перстом,
сквозь кольцо горизонта
упрямо по-бычьему струится.

..И серафимов гулкое рыданье...

О. Мандельштам

ХИМЕРА

Невидимка, Жена, Незнакомка.
Сорок окон. Света оплот.
А под рубищем камня — наколкой
связь времён, позолоченный плод

воплощенья пророчества в камень,
плод, сорвавшийся в бездну тиши.
Всё прекрасно в сферическом храме
опрокинутой зодчим души.

Чашей купола взулась истома,
и подвешена, как на цепях,
Мученица, Мудрость, 'Ессе homo'.
Так будущее зреет на костях

и на светлой крови очевидца
в кругу закопчённых апсид.
История, куда ей торопиться?
Она века перевесит.

Ей веки освещает Льюцифер.
Её суду не прекословь,
Душа, Россия, Революция,
Вера, Надежда, Любовь.

Метафора, зерно метаморфозы,
но прорастает вдруг, вибрируя, дыша,
и, куклу тела разрывая грёзой,
летит, порхает бабочкой душа
метафоры — начало превращения,
когда на прежнее уже не станет сил,
и смерти нет, и вместо погребенья —
преображение — следующий цикл
метафор кратких, словно однодневки
в лесу весеннем свадебный полёт,
но странен лес — не дерева, а древки,
а в форме куколки она одной живёт
метафорой — ни тени перемены,
ей неподвижность кажется милей,
наверное, надёжней новой сцены:
в спектаклях этих что ни акт, то злей
становится метафора вопроса
о будущем — искусство вопрошать
всё дальше в прошлом,
впрочем, все прогнозы
ошибочны, и остаётся ждать
метафору надежды.
Где-то близко
метафора надежды и любви,
и полог лёгкий звёздами обрызган,
и в горлах ком сглотнули соловьи,
и кто-то взглянет
вдруг прозревшим оком:
в громадной мельнице от неба до земли
из тихой глубины
хрустального ковша Большой Медведицы
низринется потоком

надежда, бабочка, душа,
но глыба неба крутится без проку.
А у черты вдали
проходит, не спеша,
кораблик, мотылёк,
и видят сон матросы:
висит над мачтой, искрами меча,
предгрозовой огонь голубоватой розой,
мерцанье, мрак, мечта,
метафора, зерно метаморфозы.

ГОЛОС КРОВИ

Кубической воды
оранжевый кристалл,
на гранях воздух сух.

Стада моей беды
по рёбрам острых скал
пасёт библейский дух.

Несбыточный глагол
терзает хордой губ
окаменевший лик,

а на уступах гор
судьбы бубновый куб —
прозрачный сердолик.

И в нём, как в янтаре
за миллионы лет
увязнувший москит,

спит будущий Еврей,
в Торе сокрыв увет.
Спит каторжный левит.

Запаяно зерно.
Один свободный вдох
его освобождает.

Как ярости ярмо,
как радости сполох,
как юности магнит,

на остриях гряды
высокий зреет клик,
и напрягает слух

кубической воды
библейский сердолик,
оранжевый пастух.

ДВЕ ВАРИАЦИИ

*

Ещё не обморок, а морок —
раскрывается земля,
и клубится возле норок
август, вылет муравья.

Рваной августовской раны
пересохшую гортань
речью суетной тиранит
крыльев выдоха таран.

**

Есть нечто беззаветно птичье
в полёте падающих листьев.
Так голос неизменный кличет их,
как истовый и меткий выстрел,

и радость, зёрнышко свободы,
кружит, как опытный пилот,
их медленные хороводы
сквозь встречный муравьиный лёт.

И листьев танцем золотистым
к слов шелестящим крылам
спускаются сухого смысла
крупицы, вопреки словам.

Лирику Бориса Шапино следует прежде всего слышать, нужно вслушаться, внять её звуковую основу. В начале был звук: поэт слышит звук рождающегося высказывания ещё до его смыслового выражения. Восприятие звука и вместе с ним, как её назвал Шапино "пресемантика" должны быть поставлены в начало также и читателем, перед которым лежит готовое стихотворение. Но можно и иначе. Отталкиваясь от смысла, уже обретшего музыкальный образ, за игрой слов — "Как слышу, так и напишу из слов, танцующих в балете...", подчинённые смыслу поиск и результат — открыть серьёзность духовного стремления. Но возвращение к звуку всё равно неизбежно, столь тесно переплетаются здесь звуковая форма и смысл.

Шапино пишет стихи более двадцати лет, но только сейчас выходит его первая книга на русском языке. Его судьба необычна даже для эмигранта из СССР — печататься в СССР он не мог (предложение Бориса Полевого публикации ради вставить в циклы недвусмысленно советские стихи он отклонил), и почти не пытался на Западе. Борис Шапино родился в 1944 в Москве, переехал в 1975 в Западную Германию, получил в 1979 степень доктора естественных наук в Тюбингене и занимается теоретической физикой в Регенсбургском Университете. Тем не менее Шапино был и остаётся прежде всего лириком. Вместе с друзьями он организовал в 1964 на физическом факультете Московского Университета семинар по поэтике (на котором обсуждалась также и "музыкальная пресемантика стиха") и участвовал в поэтическом объединении "Кленовый лист", проводившем в 1964 и 1965 трёхдневные фестивали лирики и пытавшемся создать "Поэтический театр",

который успел дать четыре представления. Всё это смогло просуществовать лишь до 1966. В 1983 Шапиро основал "Поэтические чтения" в Регенсбурге и применяет своё двойное дарование в работе над математической теорией динамики языка.

Заглавие "Соло на флейте" выводит на передний план тему музыки. Музыка сливается с природой, и обе они образуют дыхание, метафору, притчу, сюжет. За ними стоят темы жизненной концепции, отношения к смерти, поиска незлоупотребимой надежды. Лирика Шапиро, как и музыка, живёт контрастом. Угроза и помощь, игра и действительность, любовь и одиночество, хаос и вселенная, вера и сомнение, Бог и Дьявол, жизнь и смерть отслаиваются в звуке и слове, причём параллельному звучанию соответствует полифонический смысл — напряжение, организующее многослойность текста.

В юности Шапиро несколько лет подряд странствовал в каникулы по Русскому Северу и Сибири в поисках людей, ещё связанных с дохристианским миром духов, людей вне рамок создания технологического рационализма: знахарей, травниц, ворожей, колдунов, шаманов. В их духовности встретил он единение человека и природы, которое снова усиленно ищет "житель многих стран"; в их языке — слова, сохранившиеся только в устной речи. И это тоже плодотворно отразилось в его поэзии.

Звук в истоке творчества Бориса Шапиро позволил ему вскоре после эмиграции начать писать стихи по-немецки, как Иосиф Бродский пишет по-английски. Две книги, "Зерно метаморфозы" ("Metamorphosenkorn", Heliopolis-Katzmann-Verlag, Tübingen 1981) и подготовленная к печати "Одна капля слова" ("Ein Tropfen Wort"), прокладывают Шапиро путь в немецкоязычную литературу. Возможно, что в 1974 написан-

ный цикл о Марине Цветаевой "Возвращение Марины" уже свидетельствует о начале этой духовной связи.

В области пресемантики нет ни русского, ни немецкого, но только звук и смысл. Борис Шапиро надеется, как и каждый серьёзный поэт, что мы проникнем через его стихи в этот исток.

Вольфганг Казак

СОДЕРЖАНИЕ

Из сборника НАЧАЛО

Алеф веры...	7
Площадь Красная, ..	8
Вирус века. ..	9
Непогодушка-потеха, ..	10
Густо-синий восток...	11
Людоеды	12
Когда Калигула назвался...	13
Когда б не слова верная змея...	14
Разлука — смерть, ..	15
Тупик. Лобастое окно. ..	16
Юный Мориц	17
Красная осень. ..	18

СОЛО НА ФЛЕЙТЕ

Пролог	21
Та музыка...	24
Вдру́г придёт, ..	25
Там, где медовым цветеньем...	26
Nature morte	27
Я ухожу. ..	28
Ещё у города отрада...	29
На круглой скатерти...	30
Меня на Болоте заждался...	31
Тема для медитации из Кэнко Хоси	32
..И веймарский скрипач...	33
Я слушал музыку...	34
Упала Луна на деревья...	35
Завеса — зависть, ..	36
Во рту огромной головы...	37

Отрады горькая оправа...	38
Тускнеет мой приют. ..	39
Литании напевной серебро...	40
Всё недавно. Всё давно. ..	41
Йозеф Кнехт	42
Как слышу, так и напишу...	43
Сна нет. ..	44
Ты умрёшь. ..	45
Который век? Вот Агасфер...	46
Июнь	48
Две вариации (Осень)	49
Всё нынче кувырком. ..	50
Вымирает постепенно...	51
Ктырь ужалил мизгиря. ..	52
Вяхирь, лесный глуботарь,...	53
Бэрл	54
Таня	55
Пишу тебе на бересте. ..	56
Ель, неукрытая инеем,...	57
Был мне сон,...	58
Вызрело зарево в озере. ..	59
Ну вот, теперь пишу тебе...	60
Лицо наплывом. ..	61
У Эос эльфы украли из сердца...	62
Если прямо скажешь прямо,...	63
МАРФА	64
ВОЗВРАЩЕНИЕ МАРИНЫ	
Гору иду к тебе...	69
В тумане музыки изустной...	70
Иждивенка — у чешской любви...	71
Доживаю: угроза отъезда,...	72

Дорога	73
Сон к Анне Тесковой	74
Начало — ворожба и тайна...	75

ПРОВОДЫ ОТЦА

Архитектура города...	79
Неделей позже...	80
Лечение кончилось. . .	81
Октябрь в полусне...	82
Лёг снег, но он к вечеру стает...	83
Труп сегодняшней день, или трут?	84
Над нами вознёсся отрогом...	85

СКВОЗЬ КОЛЬЦО ГОРИЗОНТА

Прогулка с Пушкиным	89
Колыбельная	90
Октябрь всегда благосклонен...	91
На смерть Галича	92
Зарница на краю земли...	94
Тшу гаркнуть так, чтоб донеслось...	95
Весть, что по степям...	96
Химера	97
Метафора, зерно метаморфозы...	98
Голос крови	100
Две вариации (Ещё не обморок...)	102

ИСТОЧНИК ЗВУК. ПОСЛЕСЛОВИЕ ВОЛЬФГАНГА КАЗАКА	104
--	-----

三